



Э. ГОЛЛЕРБАХ

Образ Ахматовой

О тебе, о тебе, о тебе...

Н. Гумилев

Образ поэта, единый и цельный в своей внутренней сущности, дробится в восприятии читателей на множество разнородных отражений. Если бы возможно было воссоздать эти отражения в искусстве, перед нами прошла бы вереница условных образов, то впадающих в плохой шарж, то близких к крайней идеализации.

Едва ли, однако, интересна для нас читательская «абберрация», — мы не хотим видеть поэта в кривом зеркале. И есть исход: правду о поэте знают другие поэты.

В этой антологии мы собрали то немногое, что знают поэты об Анне Ахматовой. Пусть последняя истина им не ведома, пусть они владеют только обрывками правды (трудно угадать в тумане «образ мучительный и зыбкий»), но они — поэты, они имеют право внушать нам все, что им заблагорассудится. В разных ракурсах, в разных освещениях мерещится им образ Ахматовой, и где-то на грани сознательного и бессознательного, в чудесном слиянии познающего субъекта с объектом познания, возникают «двойники» Ахматовой, новые «Ахматовы», вызванные к жизни силою творческого пафоса.

Перед нами ряд портретов: какими средствами достигнуто их сходство с моделью? В какой мере они убедительны?

Какими бы средствами ни достигалось сходство, оно убедительно в той мере, в какой изобразительные приемы поэта соответствуют его духу, совокупности его творческих сил, — иначе мы не чувствуем искренности портрета.

В этом смысле собранные здесь стихи далеко не равнозначны. Мы предпослали им автопортрет Ахматовой, как исходную точку, как пробный камень для оценки других ее портретов.

В стихах Блока об Ахматовой мало общего с основным строем его поэзии. В блаженной «запутанности» этих стихов («не так страшна», «не так проста») звучат «карменовские» ноты блоковской лирики, но в их структуре есть что-то беспомощное, не соответствующее резкой, чуть-чуть плясовой ритмике стиха.

По четырехстопному хорею, словно по полу, усеянному гвоздями, проходит печальная цыганка. Не страшно и не просто звучит деревянная дробь последней строфы:

Не страшна и не проста я,
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна.

Блоковскому образу Ахматовой отчасти соответствует в живописи портрет Альтмана. Этот замечательный портрет нужно признать одной из заметнейших вех в истории русского искусства вообще и в развитии портретного художества в частности. Интересно сопоставить его с Серовским портретом Иды Рубинштейн, с которым его сближает не только сходство фигуры Ахматовой с телом «великой Иды», но и общность подхода к теме: в обоих случаях перед нами ярко выраженное искание стиля. Но в то время, как Серов в данном случае променял на стиль свой изумительный психологизм, Альтман сумел дать нечто всеобъемлющее: его портрет интересен и как явление стиля, и как психологический опыт, и, наконец, просто — как документ.

В поисках формы Альтман при всем своем «кубизме» сумел остаться реалистом, сделал крепкую, хорошо сколоченную вещь. Подчеркнутая худоба и угловатость модели согреты густым, сочным колоритом. Сходство дано не только внешнее, но глубоко интимное. Невольно вспоминаются строки о «безвольно просящих пощады глазах» и «чуть видном движении губ».

Другие ноты в лирике Ахматовой отметил Мандельштам. В тоне высокого трагизма, с лапидарностью подлинного поэта, он сказал всего несколько слов — о ложноклассической шали, о негодующей Федре. Он дал только фрагмент, но его восьмистишие останется навсегда в «галерее Ахматовой», как бронзовое изваяние.

В живописи к Мандельштамовскому «портрету» Ахматовой близок портрет О. Делла-Вос-Кардовской, с тою только разли-

цей, что «Федра» Кардовской создана для салона, а не для театральных подмостков. Это скорее светская женщина, чем героиня. Но музыка стихов Мандельштама явно звучит в этом прекрасном портрете.

Мандельштам, весь цельный и законченный, как камень, не отразил той раздвоенности в образе Ахматовой, которая сказалась в стихах Блока. Эту раздвоенность еще острее, чем Блок, почувствовал Кузмин. У него Ахматова одновременно и «голубка» (чего же проще?), и жуткая «ворожея» («страшная» у Блока).

Примечательно, что женские рифмы первой строфы Мандельштамовской «Ахматовой» совпадают с первой рифмой стихотворения Кузмина: как интродукция, как некий камертон, звукосочетание е, л, а представляется в отношении Ахматовой исключительно удачным.

К мелодике Кузминских рифм примыкает (если можно говорить о звучании вещи) изящно-интимная статуэтка Ахматовой работы Нат. Данько (раскраска Е. Данько); это не просто «фарфоровая фигурка», но какая-то «затвердевшая» мелодия, почти формула.

В творчестве Гумилева образ Ахматовой просвечивает в целом ряде стихотворений, но иногда проблематично. Включенные в эту антологию, стихотворения наиболее определены в смысле портретности. Для Гумилева, парнасца и акмеиста, все незаконченное и двойственное было невыносимо, и даже его собственная двойственность (экзотический авантюризм и православная религиозность) носила какой-то монолитный, гармоничный характер. Оттого и образ Ахматовой нарисован Гумилевым твердо и уверенно. В стихах «Из логова змиева» он словно гравировал этот образ, резцом вычерчивает его на меди, с холодной объективностью стилизует милые ему черты, зная, что стилизация дает право исказить действительность. Стихотворение это, превосходное по форме, уступает в лиризме другому, названному «Она», которое, если продолжать сравнение в терминах изобразительного искусства, похоже на мягкую, туманную пастель, где конкретные черты тонут в зыбкой «карьеровской» дымке.

Наш сборник носит портретный характер, и потому в него не вошли стихи, посвященные Ахматовой, но не относящиеся к ее творчеству и личности. Правда, иногда это отношение спорно: можно отвергнуть такое стихотворение, как «Петр в Голландии» Г. Иванова («Вереск», 1916); можно колебаться относительно «Возвращения» Гумилева («Колчан», 1916); но его

же акrostихи включены в антологию в предположении, что их содержание находится в какой-то связи с именем, их скрепляющим. Нужно признать возможность «портретных» пейзажей, и не следует ли понимать пейзаж Адис-Абебы, как фон к портрету Ахматовой? Поэту, так любившему слово и так верившему в его чудотворную силу, достаточно было назвать имя, чтобы вызвать образ. Все остальное — только фон. На этом фоне, «в садах высоких сикомор и сумрачных платанов», среди душистых красных роз, вырисовывается образ Ахматовой. Может быть, другой поэт свяжет ее образ с северным пейзажем, с березками Нестерова, со скорбными просторами Левитана, для него — субъективно — это будет также не случайный фон, это будет портретный пейзаж.

Второй акrostих Гумилева близок по духу к лирике Ахматовой, которой «тесно в мире», где мечты о любви и свете омрачены «предвечным ужасом». Одна строка этого акrostиха — «хрупких рук испуг и содроганье» говорит больше, чем иной законченный портрет.

В стихотворении Сологуба снова просвечивают мотивы антиномизма. Сердце «благочестивой жены» поэт уподобляет чаще «пьяного вина». Мотив благочестивости позволил бы сблизить стихотворение Сологуба с портретом Ахматовой, написанным Петровым-Водкиным, если бы чрезмерная, подчеркнута-иконописная «богородичность» этого портрета, сделанного в манере примитивных фресок, не граничила бы с безвкусицей.

Из живописных портретов Ахматовой нужно упомянуть еще о работах Белкина и Л. Бруни. Портрет Белкина, несколько грубоватый и приблизительный, ценен своей простотой, адекватной простоте и скупости стихов Ахматовой. Акварель Бруни несколько «сомнительна» с формальной стороны, но бесспорно содержательна и созвучна лирике Ахматовой.

Говоря о портретах Ахматовой, нельзя обойти молчанием острый рисунок Анненкова. Кажется, это единственная попытка создать «графическую» Ахматову, а между тем, в графике образ Ахматовой мог бы найти много разнообразных претворений. Ахматова более «графична», чем «колоритна», и штриховой портрет тушью или ксилография могли бы превосходно передать ее графически-четкую внешность.

Очень затейливо выразил свое понимание Ахматовой Городецкий, увидевший в ней воплощение современности — но какой современности? Если той, которая была до Октября 1917 г., то Городецкий не имеет с ней ныне ничего общего. Если же той

современности, к которой принадлежит Городецкий, то она чужда Ахматовой. Восьмистишие Городецкого напоминает по форме журнальные ребусы, в которых с трудом угадывается смысл:

«Желанный звук остро воплотил обиды сердец, выдавших острое, где два века бились за свое».

Столь же отвлеченно очерчен образ Ахматовой Рождественским, но этот отвлеченный, «эллинизированный» образ воспринимается совсем иначе, благодаря ясной, музыкальной полнозвучности стиха всегда взволнованного, почти визионирующего поэта.

В стихах Садовского образ еле намечен: «льдистый блеск очей и яд улыбки принужденной» звучит слишком расплывчато, не создает ничего конкретного.

Лозинский в своих безупречных стихах прекрасно закрепил основной тонус лирики Ахматовой. В патетических строках Цветаевой* есть надрыв, явное преувеличение, но они пленительны мистической правдой и глубиной.

Не следует думать, что горсточка стихов, собранных в этой книге, исчерпывает главные мотивы поэзии Ахматовой. Источник ее поэзии вечно нов и неисчерпаем, как источник всякого творчества: за маленьким миром лирических тревог поэта стелется бесконечный путь в мир иной.

Так за ограниченным холстом портрета раскрывается безбрежная стихия духовности. И, может быть, знакомство с поэтом следует начинать не изучением его стихов, а знакомством с его портретом.

«Только поверхностные люди не судят по внешности», — говорит Уайльд, и с ним неожиданно перекликается Г. Шпет («Эстетические фрагменты»): «Нет ни одного атома внутренне-го без внешности. Реальность, действительность определяется только внешностью. Вся душа есть внешность».

Было бы смешно и наивно понимать такое определение внешности, как поощрение френологии и физиогномики. Ни цвет кожи, ни строение черепа, ни форма рта или ушей, какими бы естественнонаучными соображениями ни руководиться, не дадут никакого ключа к пониманию чужой души. Однажды Роза-

* Из 11-ти стихотворений Цветаевой «К Ахматовой» мы включили в нашу антологию только 4, — главным образом, из чувства «композиционной» меры: целый цикл иступленно-молитвенных стихов нарушил бы «конструкцию» сборника, перенеся центр тяжести куда-то далеко за пределы портретного жанра.

нов чудесно сказал мне о стихах: «Нужно прослушать стихи и сейчас же забыть, кто читал, о чем и что, — и прислушаться к себе, — вот то, что осталось, как отзвук, и определяет ценность этих стихов».

Так и в портрете, в восприятии лица. Мне вспоминается одна ночь в Русском Музее. По неосвященным, гулким залам я проходил в сопровождении сторожа с фонарем; в одной из комнат свет фонаря выхватил из мрака альтмановский портрет Ахматовой; я задержался на пол-минуты, не больше, — и снова портрет ушел в черную ночь, — но то, что осталось от этого минутного созерцания, было несоизмеримо значительнее, чем длительное дневное «свидание» с этим портретом. — Вот мой ответ на вопрос одного поэта: зачем нужна антология, состоящая из двух десятков стихотворений, когда об Ахматовой не написано еще большой и хорошей книги?

Такую книгу, будь она трижды ученой диссертацией, хорошо поставить на дальнюю полку, а время, которое ушло бы на ее чтение, потратить на бесцельное блуждание по аллеям Детско-сельского парка, где бродят тени Карамзина и Жуковского, Пушкина и Дельвига.

Ахматову нужно воспринимать на фоне детскосельского пейзажа, и тот, кто не знает этого пейзажа, не знает Ахматовой. Здесь — целая эпоха, здесь — светлейший исток современной лирики, Каастальский ключ бессмертного лицеиста. Здесь неутешная муза тоскует об Анненском, о Комаровском, о Гумилеве, ждет возврата Ахматовой и внемлет блаженному бреду Рождественского...

Здесь Мандельштам торжественно попирает те самые «порфирные ступени», по которым всходил Тютчев, и может быть, в той аллее, где некогда Камерон вынашивал планы великолепных сооружений, спустя сто слишком лет мятежный и хаотический Пунин, изменив Аполлону, мечтал о не менее великолепных разрушениях во славу Коммуны...

Детскосельские парки могут больше помочь пониманию Ахматовой, чем славословие Недоброво или скептические замечания Иванова-Разумника.

— Талантливо и остроумно взял Чуковский лирику Ахматовой, как средство для сопоставления «двух России», избрав контр-объектом — Маяковского; Эйхенбаум использовал ее, как мишень для формально-филологических упражнений, — но «лицо» поэта, то интимно-личное, что делает всякое лицо единственным и что не сводимо ни на «психологию», ни на «филологию», вообще — не сводимо ни на какую «алгебру» (как го-

ворил Розанов), — это лицо не лучше ли всего показано в лирических портретах Ахматовой?

Я не знаю, — и не хочу знать, прав ли Шпет, усматривающий в творчестве Ахматовой «ничтожное содержание в многообещающей форме»: может быть содержание и «ничтожное», а форма только «многообещающая». Но за этим «содержанием», каково бы оно ни было, скрывается неповторимо-прекрасное лицо поэта. «Форма» Ахматовой «многообещающая» в том смысле, что она обещает (и обещание уже сбылось) по крайней мере несколько десятков «Ахматовых» в многотысячных кадрах пишущих стихи. Но верно говорит Эренбург («Портреты современных поэтов»), что милые провинциальные поэтессы, подражая Ахматовой, пытаются примерить черную шаль, падающую с чуть сгорбленных плеч, не зная, что примеряют крест. У этих барышень может появиться хорошая «форма», но нет и не будет «лица», потому что нельзя жить с чужим лицом, потому что лицо, однажды явленное миру, — неповторимо. Мы не чувствуем, мы не знаем цены человеческому лицу, наша критика слабо ощущает тайну личности, обаяние писательского «я». Между тем, в «сочинениях» чудесно не «сочинительство», а лицо, лицо, лицо, — Человек с большой буквы. Художники больше в этом смыслят, чем литературные критики. Художники любят лицо и не любят «комментариев» к лицу, потому что искусству не к лицу комментарии. Художники знают единственно верный путь — «ab exterioribus ad interiora»*. В портретах Ахматовой больше правды о ней, чем в книгах десяти критиков.

Еще одна мысль: как нужно и когда можно читать Ахматову? В минуты бестревожной радости ее стихи способны отравить душу странной, пугливой тоской. В часы повседневного труда они утомительны своим напряженным вниманием к повседневности. Нужно особое настроение тревоги, изнеможения и безнадежности, чтобы увидеть в свете собственной печали подлинное лицо Ахматовой. Ее стихи — aere perennius**, но они же — хрупки, как первый лед, на который невозможно ступить, не проломив его. И разве не хочется благословлять и целовать с безмерной нежностью тонкие, бледные руки, сделавшие эти изумительные вещи, а потом сжать их с такой силой, чтобы хрустнули кости, чтобы вырвался крик, мольба о пощаде. Так ищет исхода острая душевная боль, порождаемая

* От внешнего к внутреннему (лат.).

** Прочнее меди (лат.).

стихами Ахматовой. Сначала — меланхолическая нежность, которую «ни с чем не спутаешь», потом — взрыв ярости, удар плетью и, наконец, в итоге всех итогов, — всепрощение, молитва, тишина. Пройдя через боль Ахматовой, мы узнаем, что в жизни есть таинственный смысл, что каждая мелочь исполнена глубокого значения и нужно только суметь это значение разгадать. Тайна индивидуальной судьбы — составляет главную тему и главное очарование лирики Ахматовой. Ей ведомо «святое назначение души тоскующей в изгнании своем» (кн. П. Вяземский): ее судьба — «любить, молиться, петь».

Личные настроения Ахматовой всегда обладают необычайной напряженностью. Недоброво неправ, говоря, что Ахматова способна страдать и радоваться «только по великим поводам» (Анна Ахматова // Русская мысль. 1915. VII). Нет, ее могут встревожить и самые маленькие, пустячные поводы, она «дрожит над каждой соринкой, над каждым словом глупца», но эти маленькие поводы ведут ее на вершины трагического мироощущения.

Об этом хорошо говорит тот же Недоброво: «Другие люди ходят в миру, ликуют, падают, ушибаются друг о друга, но все это происходит здесь, в середине мирового круга; а вот Ахматова принадлежит к тем, которые дошли как-то до его края — и чтобы повернуться и пойти обратно в мир? Но нет, они бьются, мучительно и безнадежно, у замкнутой границы, и кричат, и плачут». У таких людей — огромное, трепетно бьющееся сердце, — и к этому обнаженному сердцу невольно тянутся иззябшие души скитальцев. Каждый из нас может повторить слова Эренбурга (Портреты русских поэтов. Берлин, 1922): «У других я был в комнате и в салоне, в опочивальне и в часовне. Она подпустила к сердцу». Каждый из нас «грел застывшие руки у костра ее мученической любви» и «со страхом глядел на взлеты подбитой души — птица с дробинкой, пролетит пять шагов и упадет».

Судьба по самому существу своему есть неполнота, недоговоренность, незаконченность, — она вся в изменчивом становлении, полусвободном, полужудальном. Оттого и лирика Ахматовой, пронизанная темой личной судьбы, вся в недоговоренности. Позитивист и скептик, отрицающий мир невидимый и требующий, прежде всего, доказательств, ничего не поймет в поэзии Ахматовой. Историк литературы самодовольно занесет на страницы своих изысканий несколько уверенных и плоских определений. А тот, кто верит обетованиям, кто внемлет зовам нездешнего, кто знает силу любви — тот обречен на долгие,

иногда бесплодные, поиски слов и в своих «растрепанных» заметках, в каждом своем суждении — связан скудостью нищего земного языка.

Стихотворения:

Анны Ахматовой,
Александра Блока,
Н. Гумилева,
Гр. В. Комаровского,
Ф. Сологуба,
М. Кузмина,
О. Мандельштама,
С. Городецкого,
Всеv. Рождественского,
Б. Садовского,
А. Тинякова,
М. Лозинского,
М. Цветаевой,
Э. Голлербаха.

* * *

На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней
От лиловеющего шелка,
Почти доходит до бровей
Моя незавитая челка.

И не похожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета!

А бледный рот слегка разжат,
Неровно трудное дыханье,
И на груди моей дрожат
Цветы не бывшего свиданья.

Анна Ахматова, 1913

АННЕ АХМАТОВОЙ

«Красота страшна», Вам скажут —
Вы накинете лениво

Шаль испанскую на плечи,
Красный розан — в волосах.

«Красота проста», Вам скажут —
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан — на полу.

Но, рассеянно внимая
Всем словам, кругом звучащим,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:

«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна».

Александр Блок, 1913

ОНА

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцанье
Ее расширенных зрачков.

Ее душа открыта жадно
Лишь мерной музыке стиха,
Пред жизнью дольней и отрадной
Высокомерна и глуха.

Неслышный и неторопливый,
Так странно плавлен шаг ее,
Назвать нельзя ее красивой,
Но в ней все счастье мое.

Когда я жажду своеволий
И смел и горд — я к ней иду
Учиться мудрой сладкой боли
В ее истоме и бреду.

Она светла в часы томлений
И держит молнии в руке,
И четки сны ее, как тени
На райском огненном песке.

Н. Гумилев

ИЗ ЛОГОВА ЗМИЕВА

Из логова змиева,
 Из города Киева,
 Я взял не жену, а колдунью.
 А думал — забавницу,
 Гадал — своенравницу,
 Веселую птицу-певунью.
 Покликаешь — морщится,
 Обнимешь — топорщится,
 А выйдет луна — затомится,
 И смотрит, и стонет,
 Как будто хоронит
 Кого-то... — и хочет топитья.
 Твержу ей: крещеному,
 С тобой по-мудреному
 Возиться теперь мне не в пору;
 Снеси-ка истому ты
 В Днепроовские омуты,
 На грешную Лысую гору.
 Молчит — только ежится,
 И все ей неможется,
 Мне жалко ее, виноватую,
 Как птицу подбитую,
 Березку подрытую
 Над счастьем, богом заклую.

Н. Гумилев

* * *

Адис-Абеба, город роз.
 На берегу ручьев прозрачных,
 Небесный див тебя принес,
 Алмазной, средь ущелий мрачных.

Армидин сад... Там пилигрим
 Хранит обет любви неясной,
 Мы все склоняемся пред ним,
 А розы душины, розы красны.

Там смотрит в душу чей-то взор,
 Отравы полный и обманов.
 В садах высоких сикомор,
 Аллеях сумрачных платанов.

Н. Гумилев

* * *

Ангел лег у края небосклона,
 Наклонившись, удивлялся безднам:

Новый мир был синим и беззвездным,
Ад молчал, не слышалось ни стога.

Алой крови робкое биенье,
Хрупких рук испуг и содроганье,
Миру снов досталось в обладанье
Ангела святое отраженье.

Тесно в мире, пусть живет, мечтая
О любви, о свете и о тени,
В ужасе предвечном открывая
Азбуку своих же откровений.

Н. Гумилев

АННЕ АХМАТОВОЙ

В полночи, осыпанной золою,
В условии сердечной тесноты,
Над темною и серою землею
Ваш эвкалипт раскрыл свои цветы.

И утренний порой голубоокой
Тоской весны еще не крепкий ствол,
Он нежностью, исторгнутой жестоко,
Среди камней недоуменно цвел.

Вот славы день. Искусно или больно
Перед людьми разбито на куски,
И что взято рукою богомольно,
И что дано бесчувствием руки.

В. Комаровский, 1914

А. АХМАТОВОЙ

Залетною голубкой к нам слетела,
В кустах запела томно филемела,
Душа томилась вырваться из тела,
Как узник из темницы.

Ворожея, жестоко точишь жало
Отравленного, тонкого кинжала!
Ход солнца ты б охотно задержала
И блеск денницы.

Такою беззащитною пришла ты,
Из хрупкого стекла хранила латы,
Но в них дрожат, тревожны и крылаты,
Зарницы.

М. Кузмин, 1912

* * *

Прекрасно все под нашим небом:
И камни гор, и нив цветы,
И вечным, справедливым Фебом
Опять обласканная, Ты,

И это нежное волнение,
Как в пламени синайский куст,
Когда звучит стихотворенье —
Пчела над зыбким медом уст,

И кажется, что сердце вынет
Благочестивая жена
И милостиво нам подвинет,
Как чашу пьяного вина.

Ф. Сологуб, 22 марта 1917 г.

АХМАТОВА

В пол-оборота, о, печаль!
На равнодушных поглядела.
Спадая с плеч, окаменела
Ложно-классическая шаль.

Зловещий голос — горький хмель —
Души расковывает недра;
Так — негодующая Федра —
Стояла некогда Рашель.

О. Мандельштам, 1914

АННЕ АХМАТОВОЙ

В начале века профиль странный
(Истончен он и горделив)
Возник у лиры. Звук желанный
Раздался, остро воплотив

Обиды, горечь и смятенье
Сердец, выдавших острие,
Где в неизбежном столкновеньи
Два века бились за свое.

Сергей Городецкий

В АЛЬБОМ АХМАТОВОЙ

Рвет струну горячий ветер бед,
Паруса в широком лирном строе,

Женщине на торжище побед
 Душно петь в испепеленной Трое.

И закрыв прекрасное лицо,
 Сквозь глухую ткань, под ропот пены
 Заклинает, горькая, кольцо
 Смертоносным именем Елены.

Всев. Рождественский, 1922

АННЕ АХМАТОВОЙ

К воспоминаньям пригвожденный
 Бессонницей моих ночей,
 Я вижу льдистый блеск очей
 И яд улыбки принужденной:
 В душе, до срока охлажденной,
 Вскипает радостный ручей.

Поющим зовом возбужденный,
 Я слышу темный плеск речей
 (Так звон спасительных ключей
 Внимает узник осужденный)
 И при луне новорожденной
 Вновь зажигаю шесть свечей.

И стих дрожит, тобой рожденный.
 Он был моим, теперь ничей.
 Через пространство двух ночей
 Пускай летит он, осужденный
 Ожить в улыбке принужденной,
 Под ярким холодом очей.

Борис Садовский, 1913

АННЕ АХМАТОВОЙ

Ты — изначально-утомленная,
 Всегда бестрепетно-грустящая,
 В себя безрадостно-влюбленная
 И людям беспорывно-мстящая.

Но мне при встречах наших чудится,
 Что не всегда ты будешь пленною,
 Что сердце спящее пробудится
 И хлынет в мир волною пенною.

Что принесет оно: твоё страдание?
 Иль радость — страшную и небывалую?
 Но я, — предчувствуя твоё восстание,
 Тебя приветствую ещё — усталую!

Александр Тиняков, Сентябрь 1913

НЕ ЗАБЫВШАЯ

Анне Ахматовой

Еще свою я помню колыбель,
И ласково земное новоселье,
И тихих песен мимолетный хмель,
И жизни милой беглое веселье.

Я отдаюсь, как кроткому лучу,
Неярким дням моей страны родимой.
Я знаю — есть покой, и я хочу
Тебя любить, и быть тобой любимой.

Но в душном сердце — дивно и темно,
И ужас в нем, и скорбь, и песнопенье,
И на губах, как темное пятно,
Холодных губ горит напечатленья,

И слух прибоем и стенаньем полн,
Как будто вновь, еще взглянуть не смея,
Я уношу от безутешных волн
Замученную голову Орфея.

М. Лозинский, 1912

СТИХИ К АХМАТОВОЙ

1

О, Муза плача, прекраснейшая из муз!
О ты, шальное исчадие ночи белой!
Ты черную посылаешь метель на Русь,
И вопли твои вонзаются в нас, как стрелы.

И мы шарахаемся и глухое: ох!
Стотысячное — тебе присягает: Анна
Ахматова! Это имя — огромный вздох,
И в глубь он падает, которая безымянна.

Мы коронованы тем, что одну с тобой
Мы землю топчем, что небо над нами — то же!
И тот, кто ранен смертельной твоей судьбой,
Уже бессмертным на смертное сходит ложе.

В певучем граде моем купола горят,
И Спаса светлого славит слепец бродячий...
И я дарю тебе свой колокольный град,
— Ахматова! — и сердце свое в придачу.

19 июня 1916 г.

2

Охватила голову и стою,
 — Что людские козни! —
 Охватила голову и пою
 На заре на поздней.

Ах, неистовая меня волна
 Подняла на гребень!
 Я тебя пою, что у нас — одна,
 Как луна на небе!

Что, на сердце вороном налетев,
 В облака вонзилась,
 Горбоносую, чей смертелен гнев
 И смертельна — милость.

Что и над червонным полем Кремля
 Свою ночь простерла,
 Что певучей негою, как ремнем,
 Мне стянула горло.

Ах, я счастлива! Никогда заря
 Не сгорала чище.
 Ах, я счастлива, что тебя даря
 Удаляюсь — нищей,

Что тебя, чей голос — о глубь, о мгла! —
 Мне дыханье сузил,
 Я впервые именем назвала
 Детскосельской музы*.

22 июня 1919 г.

3

Еще один огромный взмах —
 И спят ресницы.
 О, тело милое! О, прах,
 Легчайшей птицы!

Что делала в тумане дней?
 Ждала и пела...
 Так много вздоха было в ней,
 Так мало — тела.

Не человечески мила
 Ее дремота.
 От ангела и от орла
 В ней было что-то.

* Здесь, как и в следующем стихотворении, цензурная замена. Вместо: Царскосельская — Детскосельская. — *Ред.*

И спит, а хор ее манит
 В сады Эдема.
 Как будто песнями не сыт
 Уснувший демон!

Часы, года, века. — Ни нас,
 Ни наших комнат.
 И памятник, накоренясь,
 Уже не помнит.

Давно бездействует метла,
 И никнут льстиво
 Над Музой Детского Села
 Кресты крапивы.

23 июня 1916 г.

4

Златоустой Анне — всяя Руси
 Искушительному глаголу, —
 Ветер, голос мой донеси
 И вот этот мой вздох тяжелый,

Расскажи, сгорающий небосклон,
 Про глаза, что черны от боли,
 И про тихий земной поклон
 Посреди золотого поля,

Ты в грозовой выси
 Обретенный вновь!
 Ты! — Безымянный!
 Донеси любовь мою
 Златоустой Анне — всяя Руси!

Марина Цветаева. 27 июня 1916 г.

АННА АХМАТОВА

Безмолвие. Глубокая безгласность.
 Едва заметное движенье губ.
 Мир, погруженный в суету и страстность,
 Как лава сер, как извержение груб.
 Но в этом раскаленном океане
 Есть остров, где золотоглавый скит
 На облаков разорванные ткани
 Крестами многодумными глядит.
 В скиту живет подвижница-блудница:
 Печален взор застывших синих глаз...
 Мне этот взор весной часто снится,
 Как повесть, читанная много раз.

Иконописно — скованы движенья,
 Но хищный профиль дерзок и остер.
 Как душен дым церковного кажденья!..
 Как вешний соблазнитель простор!..
 Суровы очи ликов пожелтелых
 В колеблющемся отсвете свечей.
 Зачем же в сердце вьется стая белых,
 Воркующих, влюбленных голубей?..
 Рукой сухой, рукою восковою
 Пергаментный раскрыт молитвослов...
 Ах, где-то есть за далью голубою
 Плеск музыки, дыхание цветов.
 У пояса — оливковые четки,
 И вместо челки — сумрачный клубок.
 — О если бы в крылатой утлой лодке
 Уплыть из плена благолепных мук!

Она умрет в прозрачный день осенний,
 В тот янтаряющий, медвяный час,
 Когда луч солнца в алтаре Успенья
 Позолотит резной иконостас.

И перед смертью оттолкнет причастье,
 И медленно взлетит к Престолу Сил,
 Поцеловав в последний миг запыстье,
 Которое ей милый подарил.

Э. Голлербах, 1921

* * *

День прозрачен и тих. За окном голубая Нева
 Величаво влачит мутноватые плоские волны.
 Я едва вспоминаю спокойные Ваши слова,
 Я едва вспоминаю, печалью и нежностью полный.

Как укор бытию, неотступно глядят со стены
 Потемневших икон утомленно-суровые очи.
 Здесь над всеми словами расстелен покров тишины
 И застывшее Время не может взлететь и не хочет.

Так и я — ни понять, ни осилить того не могу,
 Что отныне вплелось между явью и снами моими.
 Мой далекий двойник, где-то там, на другом берегу,
 Без конца повторяет короткое, звучное имя.

Э. Голлербах, 16 сент. 1924 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

«На шею мелких четок ряд» А. Ахматовой напечатано в книге А. «Anno Domini MCMXXI», изд. «Петрополис». 1922.

- «Анне Ахматовой» А. Блока — в третьем томе «Стихотворений» Б., изд. «Мусагет». М., 1914.
- «Она» Н. Гумилева — в сборнике Г. «Чужое небо», изд. «Аполлон». СПб., 1912.
- «Из логова змиева» — там же. Перепечатано в посмертном сборнике «Стихотворений» Г., изд. «Мысль». 1922.
- «Адис-Абеба...» и «Ангел лег у края небосклона» — в сборн. «Стихотворения». 1922.
- «Анне Ахматовой» гр. В. Комаровского — в журн. «Аполлон». 1916. № 8.
- «Анне Ахматовой» М. Кузмина — в сборнике К. «Глиняные голубки». СПб., 1914.
- «Ахматова» О. Мандельштама — в сборнике М. «Камень», изд. «Гиперборей». Пг., 1916.
- «Анне Ахматовой» — С. Городецкого — в сборнике Г. «Цветущий посох», изд. «Грядущий день». СПб., 1913.
- «Анне Ахматовой» Б. Садовского — в сборнике С. «Полдень». Пг., 1915.
- «Анне Ахматовой» А. Тинякова — в сборнике Т. «Треугольник», изд. «Поэзия». Пг., 1922.
- «Не забывшая» М. Лозинского — в сборнике Л. «Горный ключ», изд. «Мысль». 1922.
- «Стихи к Ахматовой» М. Цветаевой — в сборнике Ц. «Версты», Госуд. Изд. М., 1922.
- Остальные стихотворения появляются в печати впервые.

